

Dohnal, Josef; Karamzin, Nikolaj Michajlovič

Николай Михайлович Карамзин (1766-1826)

In: Dohnal, Josef. *Русская литература XVIII века. Избранные тексты II., Хрестоматия.*
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 163-190

ISBN 978-80-210-7065-3; ISBN 978-80-210-7068-4 (online : Mobipocket)

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/130401>

Access Date: 24. 02. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

Николай Михайлович Карамзин

(1766–1826)

Под конец XVIII века в русской литературе можно наблюдать появление произведений, написанных в духе сентиментализма. Познакомьтесь с его основными характерными чертами. Какие жанры можно считать типичными для сентиментализма?

Карамзин пытается постичь движения души его героев. Как именно это проявляется в тексте рассказов «Бедная Лиза» и «Евгений и Юлия»?

«Письма русского путешественника» – это история знакомства Карамзина с Европой.

Писатель хотел способствовать обмену информацией между Европой и Россией и основал журнал, который выполнял именно эту функцию: найдите, как этот журнал назывался.

БЕДНАЯ ЛИЗА

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты. Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбацких лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом.

На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению деревьев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подальше, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалинах гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, – стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келий и представляю себе тех, которые в них жили, – печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах – с бледным лицом, с томным взором – смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит – и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет – и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества – печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженья в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончнн, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена

и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего – ибо и крестьянки любить умеют! – день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась после отца пятнадцати лет, – одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды – и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, – чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери.

„Бог дал мне руки, чтобы работать, – говорила Лиза, – ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки“.

Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих – ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. „На том свете, любезная Лиза, – отвечала горестная старушка, – на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть – что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю“.

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы – и покраснелась. „Ты продаешь их, девушка?“ – спросил он с улыбкою. „Продаю“, – отвечала она. „А что тебе надобно?“ – „Пять копеек“. – „Это слишком дешево. Вот тебе рубль“. Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, – еще более заскраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. „Для чего же?“ – „Мне не надобно лишнего“. – „Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня“. Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку: „Куда же ты пойдешь,

девушка?“ – „Домой“. – „А где дом твой?“ Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. „Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...“ – „Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос...“ – „Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господа бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти“. У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали.

Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. „Никто не владей вами!“ – сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердца своем.

На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочил“ и закричала: „Ах!..“ Молодой незнакомец стоял под окном.

„Что с тобой сделалось?“ – спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. „Ничего, матушка, – отвечала Лиза робким голосом, – я только его увидела“. – „Кого?“ – „Того господина, который купил у меня цветы“. Старуха выглянула в окно.

Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. „Здравствуй, добрая старушка! – сказал он. – Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?“ Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей – может быть, для того, что она его знала наперед, – побежала на погреб – принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, – схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил – и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами.

Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении – о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч. и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были –

нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блеснит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. – „Мне хотелось бы, – сказал он матери, – чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам“. Тут в глазах Лизиних блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других.

Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. „Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?“ – спросила старуха. „Меня зовут Эрастом“, – отвечал он. „Эрастом, – сказала тихонько Лиза, – Эрастом!“ Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: „Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!“ Все Лизино сердце затрепетало. „Матушка! Матушка! Как этому стать? Он барин, а между крестьянами...“ – Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои проводжали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. „Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям“, – думал он и решился – по крайней мере на время – оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь – мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до

восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове природы. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напиться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. – Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: „Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, – и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: „Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей“. Он взглянул бы на меня с видом ласковым – взял бы, может быть, руку мою... Мечта!“ Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел – взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке – Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и – мечта ее отчасти исполнилась: ибо он _взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку... А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем – не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приближался к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящей! „Милая Лиза! – сказал Эраст. – Милая Лиза! Я люблю тебя!“ и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и...

Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость – Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, – смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: „Люби меня!“, и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться.

Надлежало расстаться. „Ах, Эраст! – сказала она. – Всегда ли ты будешь любить меня?“ – „Всегда, милая Лиза, всегда!“ – отвечал он. „И ты можешь мне дать в этом клятву?“ – „Могу, любезная Лиза, могу!“ – „Нет! Мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?“ – „Нельзя, нельзя, милая Лиза!“ – „Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!“ – „Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать“. – „Для чего же?“ – „Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое“. – „Нельзя статься“. – „Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова“. – „Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне я, не хотелось бы ничего таить от нее“.

Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видаться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видаться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. „Он меня любит!“ – думала она и восхищалась сею мыслию. „Ах, матушка! – сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. – Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!“ Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно в самом деле показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. „Ах, Лиза! – говорила она. – Как все хорошо у господина бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травой и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали“. А Лиза думала: „Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!“

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) –

дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались – но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непородны были их объятия. „Когда ты, – говорила Лиза Эрасту, – когда ты скажешь мне: „Люблю тебя, друг мой!“; когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен“. Эраст восхищался своей пастушкой – так называл Лизу – и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. „Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!“ Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. „Я люблю ее, – говорила она, – и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого“. Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. „Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться – до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!“ Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. „Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?“ – „Ах, Эраст! Я плакала!“ – „О чем? Что такое?“ – „Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него

вышла“. – „И ты соглашаешься?“ – „Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!“ Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. „Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!“ – сказала Лиза с тихим вздохом. „Почему же?“ – „Я крестьянка“. – „Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу“.

Она бросилась в его объятия – ив сей час надлежало погибнуть непорочности! Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей – никогда Лиза не казалась ему столь прелестною – никогда ласки ее не трогали его так сильно – никогда ее поцелуи не были столь пламенны – она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась – мрак вечера питал желания – ни одной звездочки не сияло на небе – никакой луч не мог осветить заблуждения. – Эраст чувствует в себе трепет – Лиза также, не зная, отчего, не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где – твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал – искал слов и не находил их. „Ах, я боюсь, – говорила Лиза, – боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?“ Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. „Эраст, Эраст! – сказала она. – Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!“ Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков – казалось, что натура сетовала о потерянной Лизией невинности. Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. „Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!“ – „Будем, Лиза, будем!“ – отвечал он. – „Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся“.

Свидания их продолжались; но как все переменилось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы – одними ее любви исполненными взорами – одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, – а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот,

конечно, согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде восплалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог гордиться и которые были для пего уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастье. Она видела в нем перемену и часто говорила ему: „Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!“ Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: „Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело“, – и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видела его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал: „Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход“. Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила: „Тебе нельзя остаться?“ – „Могу, – отвечал он, – но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества“. – „Ах, когда так, – сказала Лиза, – то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить“. – „Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза“. – „Я умру, как скоро тебя не будет на свете“. – „Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу“. – „Дай бог! Дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать. Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе – о слезах своих!“

– „Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала“. – „Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое“. – „Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся“. – „Буду, буду думать о ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!“

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиною матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что ласковый, пригожий барин ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: „Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне“. Старушка осыпала его благословениями. „Дай господи, – говорила она, – чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!“ Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: „Прости, Лиза!..“ Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бедную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала – Эраст плакал – оставил ее – она упала – стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся – далее – далее – и, наконец, скрылся – воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя – и свет показался ей уныл и печален. Все приятности природы сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. „Ах! – думала она. – Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертью своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!“ Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: „У меня есть мать!“ – остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда – хотя весьма редко – златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. „Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!“ От сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретила ее великолепная карета, и в сей карете увидела она Эраста. „Ах!“ – закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дома, как вдруг почувствовал себя в Лизиних объятиях. Он побледнел – потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: „Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей – возьми их, – он положил ей деньги в кармай, – позволь мне поцеловать тебя в последний раз – и поди домой“. Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: „Проводи эту: девушку со двора“.

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте – готов проклинать его – но язык мой не движется – смотрю на него, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную бль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства – жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице, и в таком положении, которого никакое перо описать не может. „Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!“ – вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза – встала с помощью сей доброй женщины – благодарила ее и пошла, сама не зная куда. „Мне нельзя жить, – думала Лиза, – нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! Небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!“ Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость – осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю

девушку), идущую по дороге – кликнула ее, вынула из кармана десять имперялов и, подавая ей, сказала: „Любезная Анята, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке – они не краденые – скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, – к Э... На что знать его имя? – Скажи, что он изменил мне, – попроси, чтобы она меня простила, – бог будет ее помощником, поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, – скажи, что я...“ Тут она бросилась в воду. Анята закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню – собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там, в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела – глаза навек закрылись. Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: „Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!“

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле. Теперь, может быть, они уже примирились!

http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0010.shtml

ЕВГЕНИЙ И ЮЛИЯ

Русская истинная повесть

Cessez et reprenez ces clameurs lamentables
 Faible soulagement aux maux des miserables!
 Flechi'ssons sous un Dieu, que veut nous éprouver,
 Oui d'un mot peut nous perdre, et d'un mot nous sauver! {*}
 {*} Удержите и прекратите ваши жалобные вопли,
 Слабое утешение в беде всех несчастных!
 Покоримся богу, который хочет нас испытать,
 Который единым словом может нас погубить или спасти! (франц.)}

Госпожа Л*, проведшая все время своей молодости в Москве, удалилась наконец в деревню и жила там почти в совершенном уединении, утешаясь своею воспитанницею, дочерью покойной ее приятельницы, которая в последний час жизни своей, пожав ее руку, сказала: „Будь матерью моей Юлии!“

Подобно тихой прозрачной реке текла мирная жизнь их, струившаяся невинными удовольствиями и чистыми радостями. Праздность и скука, которые угнетают многих деревенских жителей, не смели к ним приблизиться. Они всегда чем-нибудь занимались; сердце и разум их были всегда в действии. Едва мрачные ночные тени исчезать начинали, едва румяный свет зари начинал разливаться по воздуху, госпожа Л*, пробуждаясь вместе с природою, нежными ласками прерывала покойный сон Юлии и призывала ее пользоваться приятностями утра. Обнявшись, выходили они из дому, дожидались солнца, сидя на высоком холме, и встречали его благословением. Насладясь сим великолепным зрелищем природы, возвращались они домой с чувством веселия, ходили по саду, осматривали цветы, любовались их освеженною красотою и питались амброзическими испарениями. Госпожа Л*, посмотрев на пышную розу, часто с улыбкою обращала взор свой на Юлию, находя между ими великое сходство. Но Юлия любила более всех цветов фиалку. „Миленький цветочек! -- говаривала она, прикасаясь нежными устами своими к се листочкам.-- Миленький цветочек! Напрасно скрываешься в густоте травы: я везде найду тебя“. Говоря сие, клялась внутренне быть всегда смиренною подобно любезной своей фиалочке. После обеда хаживали они смотреть полевые работы поселян, которые в присутствии их трудились с радостию. Вечер приносил с собою новые удовольствия. Смотрели на заходящее солнце, смотрели, как

кроткие овечки при звуках пастушеской свирели бегут домой, блеют и прыгают, как утружденные поселяне один за другим возвращаются в деревню, и слушали, как они, быв довольны успехом работ своих, в простых песнях благословляют мать-натуру и участь свою.

Когда же наступала пасмурная осень и густым мраком все творение покрывала или свирепая зима, от севера несущаяся, потрясала мир; бурями своими, когда в нежное Юлино сердце вкрадывалась томная меланхолия и тихими вздохами колебала грудь ее, тогда брались за книги, бессмертные творения истинных философов, писавших для пользы рода человеческого, тогда читали и перечитывали письма любезного Евгения, сына госпожи Л*, учившегося в чужих краях. Иногда при чтении сих писем глаза Юлины наполнялись слезами, приятными слезами любви и почтения к благоразумному и добросердечному юноше. „Ах! Когда он к нам приедет? -- часто говаривала госпожа Л*.-- Как счастлива буду я, когда его увижу, прижму к своему сердцу и тебя вместе с ним, Юлия!“

Так текли месяцы и годы. Настало время, в которое молодому Л* надлежало возвратиться в отечество и в объятия своей матери. Всякий день ждали его, и все о нем говорили. Гуляя по цветущим лугам -- тогда было еще начало лета, -- беспрестанно посматривали на большую дорогу. Когда поднималась вдали Пыль, сердца, ожиданием томимые, трепетать начинали. Прогуливались долее обыкновенного, медлили обедать, медлили ужинать, надеялись, что приедет сын, приедет братец -- с самого детства Юлия привыкла называть Евгения сим именем.

Наконец он приехал. Восклидания, восторг, радостные слезы -- кто сие описать может? Несколько дней не могли они от радости опомниться. Юлия -- по скромности, свойственной молодой благонравной девушке, -- старалась удерживать сильные движения своего сердца, но не всегда могла удержать их. Молодой, пылкий человек, воспитанный с нею вместе и любивший ее, как сестру свою, после такой долговременной разлуки требовал от нее все новых уверений в любви. Юлия должна была обходиться с ним так же вольно, так же просто, как и в детстве. Он непременно хотел, чтобы она всегда говорила ему ты, а не вы; сего последнего слова не мог он терпеть в устах своей Юлии. „Как бы я был несчастлив, -- говорил он трогательным голосом, -- если бы разлука хотя несколько прохлладила твою любовь ко мне, тот нежный жар дружбы, который составлял счастье моего младенчества!.. Нет, сестрица! Ты меня, конечно, так же любишь, как и прежде, собственное мое сердце меня в том уверяет. Хотя, расставшись с вами, перешел я совсем в новый мир, где меня все занимало, все изумляло; однако ж мысль о вас -- о матушке и о тебе -- была всегда первою и приятнейшею моею мыслию. Помнишь, как мы прощались, когда Евгений, проливая слезы, сказал тебе

прерывающимся голосом: „Юлия! Я буду всегда нежнейшим другом твоим!“ Эта сцена никогда не выходила из памяти моей“. Юлия отвечала ему одною улыбкою, но сия улыбка сказывала ему все. Госпожа Л* в радости обнимала сына своего и Юлию.

Хозяйки водили Евгения по всем лучшим местам в окрестности своей деревни и показывали ему прекрасные виды, открывающиеся с вершины зеленых холмов. „Под этим высоким вязом,-- говорила ему госпожа Л*,-- ты часто сиживал с Юлиею; часто бегивал с нею по этому дугу, в этом леску брали мы землянику, и когда Юлия, не умея искать ягод, грустила, ты тихонько подбежал к ней и пересыпал свои ягоды в ее корзинку. На этой долине вы заставили меня однажды плакать и благодарить бога. Помнишь ли? Нет, ты уже все забыл. Так я расскажу тебе. Мы гуляли по роще. Вышедши на долину, увидели мы лежащего на траве старика, который едва дышал от усталости и зноя. Ты тотчас бросился к нему, схватил с себя шляпу, почерпнул воды, возвратился к старику, напоил его и смыл у него с лица пыль, а Юлия обтерла его платком своим. Боже мой! Как я радовалась вами, видя такие знаки чувствительности вашего сердца!“

Гуляя при свете луны, рассматривали звездное небо и дивились величию божию; внимая шуму водопада, рассуждали о бессмертии. Сколько высоких нежных мыслей сообщали они друг другу, быв оживляемы духом природы! Как возвышалось сердце молодого человека, когда он в лице Юлии рассматривал образ спокойной невинности, освещаемый лучами тихого светила.

Евгений подарил Юлии множество нот, множество французских, италийских, немецких книг. Она прекрасно играла на клавесине и пела. Клопштокова песня „Willkommen, silberner Mond“ {Явись к нам, серебряный месяц (нем.)}, к которой музыку сочинил кавалер Глук, ей отменно понравилась. Никогда не могла она без сердечного размягчения петь последней строфы, в которой Глук так искусно согласил тоны с чувствами великого поэта. Кроткие, нежные души! Вы одне знаете цену сих виртуозов, и вам единственно посвящены их бессмертные сочинения. Одна слеза ваша есть для них величайшая награда.

15 августа минуло Евгению двадцать два года, а Юлии двадцать один. Утренняя песнь птичек разбудила юношу. Он открыл глаза, и все предметы вокруг него улыбнулись. Встав с веселием, спешил он к своей родительнице. Она сидела в задумчивости, облокотившись на окно, подле которого на молодой яблоне лобызались две горлицы; на челе ее видны были знаки небесных чувств. Евгений смотрел на нее с глубоким почтением, не смев прервать ее размышления. Но сердце ее скоро почувствовало приход любезного сына; она встала, обняла его

и благословила день его рождения. Вошла Юлия. Легкое, белое платье с розовыми леутами, распущенные волосы, радостная усмешка -- все сие возвышало красоту ее. Она летела в объятия своей воспитательницы. Едгедай целовал ее руку.

Госпожа Л* села на софу, посадила подле себя детей своих, смотрела на них с умильною любовью и начала говорить: „Бог видит, что я вас равно люблю, сердце мое признает Юлию своею дочерью. Я всегда радовалась взаимною вашею любовью, веселилась, что бог даровал мне таких милых детей. Признаюсь, я боялась, чтобы ты, сын мой, просвещая свой разум, не развратился в сердце, которое у тебя так мягко. Часто на коленях взывала я к богу: спаси моего сына! -- Он услышал молитву мою, и ты возвратился к нам с большими знаниями и с неиспорченными чувствами. Не правда ли, что и в Юлии нашел ты новые достоинства? Она была предметом всех моих попечений, я старалась ее научить всему тому, что сама знала. Богу открыто было мое намерение, а теперь и вам его открою. Я готовила вас друг для друга. Вы друг друга достойны, друг друга любите: совершите же благополучие мое и соединитесь вечным, священным союзом!“ Евгений вдруг встал, бросился к ногам матери своей и мог сказать только: „Матушка... Матушка!“ Юлия преклонила голову свою на груди ее и в безмолвии жала ее руку. Евгений одною рукою обнял мать свою и Юлию... Блаженные патриархальные времена, в которые добродетельный юноша без всякой боязливой застенчивости, означающей растленную пороком душу, прижимал к груди своей добродетельную девицу! Одна минута излетела из глубины вашей, вырвалась из объятий вечности, вас поглотившей, возвратилась в мир и осчастливила юного Евгения! „Блаженствуйте, дети мои! -- говорила гж. Л*,-- блаженствуйте ко счастью матери вашей!“ -- „Ах! Достояна ли я такого блаженства! -- сказала Юлия.-- Ваши милости...“ -- „Ты для меня небесный дар, Юлия, дар, которого едва смел я желать во глубине своего сердца“;

Если бы Рафаэль увидел сию сцену, то он забыл бы писать картину и в восхищении бросил бы кисть свою.

Все домашние, узнав, что Евгений скоро будет супругом Юлиным, были вне себя от радости, все любили его, все любили ее. Всякий спешил к обедне, всякий хотел от всего сердца молиться о благополучии их. Какое зрелище для ангелов! Евгений и Юлия составляли одно сердце, в пламени молитвы к небесам воспарявшее. Госпожа Л* в жару благоговения многократно упала на колени, поднимая глаза к небу и потом обращая их на детей своих. Надлежало думать, что сии сердечные Прошения будут иметь счастливые следствия для юной четы, что она будет многолетствовать в непрерывном блаженстве, каким только

можно смертному на земле сей наслаждаться. Но судьбы всемогущего суть для нас непостижимая тайна. Пребывая искони верен законам своей премудрости и благодати, он творит -- мы изумляемся и благоговеем -- в вере и молчании благоговеть должны.

Будучи в беспрестанном восторге высочайшей радости, Евгений около вечера почувствовал в себе сильный жар. Он не хотел чувствовать его, хотел превозмогать натуру и таить сие борение; ко внутреннее состояние его скоро открылось проницательным глазам нежной его родительницы и Юлии. Страх разлился по всем нервам их. Радость, подобно летнему солнцу, скрылась за облако печальных предчувствий; буря и гром таились в недрах оного. Больного положили на постелю -- послали в город за доктором -- все были в смятении, но все старались еще льстить себя надеждою. Так человек по некоторому природному побуждению -- может быть, счастливому -- закрывает глаза свои, когда освещает его луч будущих горестей!

Евгений, несмотря на то что пламя болезни стремилось в нем охватить все потоки жизни, просил печальную мать свою и плачущую Юлию успокоиться, уверяя, что ему становится лучше; но огненные руки его и горящее лицо обличали его в неправде. Три дни, в которые ни гж. Л*, ни Юлия почти не отходили от постели и не смыкали глаз, болезнь его то усиливалась, то уменьшалась. Приехал доктор, осмотрел больного и не сказал ничего решительного. Казалось, что в пятый день было ему гораздо легче: утешение блеснуло в душах печальных. Но в шестой день пришел он в беспамятство, и доктор сказал Юлии за тайну, что нельзя ручаться за жизнь его.-- Оцепенение и обморок!

Больной в беспамятстве своем часто говорил с жаром: „Я не хочу, не хочу с нею расстаться!.. Только с нею хотел бы я царствовать... Оставь меня, искуситель, и не кажись Юлии!“

В девятый день, на самом рассвете, душа Евгениева оставила брненное тело. Иступленной матери казалось, что собор святых духов принял ее в свои объятия и с громогласными песнями провожал по пространствам эфира. После сей небесной мечты она почувствовала в себе бодрость и могла утешать Юлию, которая упала на грудь мертвого и в отчаянии восклицала: „Друг, супруг мой! Постой, постой! Умрем вместе!“ Насилу могли вывести ее из комнаты.

Через три дни надлежало погребать тело. Все дворовые люди и крестьяне присутствовали при сем печальном обряде и проливали горькие слезы. Всякий хотел нести гроб и тем оказать последний долг покойному. За гробом шла несчастная мать в длинном черном платье. Немая горесть изображалась на лице

ее, но сквозь глубокие черты сей горести сияла твердость и всякая надежда на небесное подкрепление. Бледная, изнемогшая Юлия не могла сама идти, ее вели две женщины под руки в некотором отдалении от гроба. Ни одной капли слез не видно было в глазах ее, и никаких жалоб уста ее не произносили, но в сердце своем чувствовала она всю тягость свершившегося удара.

Унылый глас похоронных песней и вид гроба, опускаемого в землю, не могли поколебать мужества гж. Л*. Но Юлия не могла уже вынести сей последней сцены, громко закричала и едва было без чувств не упала в могилу, но гж. Л* успела схватить и удержать ее.

Так скрылся из мира нашего любезный юноша. Прости, цвет добродетели и невинности! Прах твой покоится в объятиях общей матери нашей, но дух, составлявший истинное существо твое, плавает в бесчисленных радостях вечности, ожидая своей любезной, с которою не мог он здесь соединиться вечным союзом. Прости!

Гж. Л* и Юлия лишились в сей жизни всех удовольствий и живут во всегдашнем меланхолическом уединении. Самая природа, бывшая некогда для них источником радостей, представляется им мрачною и запустевшею. Единственную отраду свою находят они в молитве и в помышлении о будущей жизни. В следующую весну Юлия насадила множество благовонных цветов на могиле своего возлюбленного; будучи орошаемы ее слезами, они распускаются там скорее, нежели в саду и на лугах. Молодые деревенские девушки и мальчики празднуют подле сей могилы пришествие прекрасного мая, но отцы их и матери никогда без тяжелого вздоха мимо ее не проходят.

Один молодой чувствительный человек, проезжавший через деревню гж. Л* и слышавший сию печальную повесть, посетил гроб Евгениев и на белом камне, лежавшем между цветов на могиле, написал карандашом следующую эпитафию, которая после была вырезана на особливом мраморном камне:

Сей райский цвет не мог в сем мире распуститься --
Увял, иссох, опал -- и в рай был пренесен.

http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0980.shtml

ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА (Отрывки)

Я хотел при новом издании многое переменить в сих „Письмах“, и не переменял почти ничего. Как они были писаны, как удостоились лестного благоволения публики, пусть так и остаются. Пестрота, неровность в слоге есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника: он сказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, – и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом. Много неважного, мелочи – соглашаюсь; но если в Ричардсоновых, Фильдинговых романах без скуки читаем мы, например, что Грандисон всякий день пил два раза чай с любезною мисс Бирон; что Том Джонес спал ровно семь часов в таком-то сельском трактире, то для чего же и путешественнику не простить некоторых бездельных подробностей? Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкою за плечами не обязан говорить с осторожною разборчивостью какого-нибудь придворного, окруженного такими же придворными, или профессора в шпанском парике, сидящего на больших, ученых креслах. – А кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, вместо сих „Писем“, советую читать Бишингову „Географию“.

1793

Тверь, 18 мая 1789

Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!

О сердце, сердце! Кто знает: чего ты хочешь? – Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов? Но – когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего. На что ни смотрел – на стол, где

несколько лет изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, на окно, под которым сживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии и где так часто заставало меня восходящее солнце, на готический дом, любезный предмет глаз моих в часы ночные, – одним словом, все, что попадалось мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но зато мыслями и чувствами обильной.

С вещами бездушными прощался я, как с друзьями; и в самое то время, как был размягчен, растроган, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я не забыл их и взял опять к себе, когда возвращуся. Слезы заразительны, мои милые, а особливо в таком случае.

Но вы мне всегда любезнее, и с вами надлежало расстаться. Сердце мое так много чувствовало, что я говорить забывал. Но что вам сказывать! – Минута, в которую мы прощались, была такова, что тысячи приятных минут в будущем едва ли мне за нее заплатят.

Милый Птрв. провожал меня до заставы. Там обнялись мы с ним, и еще в первый раз видел я слезы его; там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: прости! Колокольчик зазвенел, лошади помчались . и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей!

Все прошедшее есть сон и тень: ах! где, где часы, в которые так хорошо бывало сердцу моему посреди вас, милые? – Если бы человеку, самому благополучному, вдруг открылось будущее, то замерло бы сердце его от ужаса и язык его онемел бы в самую ту минуту, в которую он думал назвать себя счастливейшим из смертных!

Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; а на последней станции к Твери грусть моя так усилилась, что я в деревенском трактире, стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора, хотел бы, как говорит Шекспир, выплакать сердце свое. Там-то все оставленное мною явилось мне в таком трогательном виде. – Но полно, полно! Мне опять становится чрезмерно грустно. – Простите! Дай бог вам утешений. – Помните друга, но без всякого горестного чувства!

С.-Петербург, 26 мая 1789

Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду в Ригу. В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д*, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любез-

ный человек {Его уже нет в здешнем свете.} открыл мне свое сердце: оно чувствительно – он несчастлив! „Состояние мое совсем твоему противоположно, – сказал он со вздохом, – главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти, которая одна может окончить мое страдание“. Я не смел утешать его и довольствовался одним сердечным участием в его горести. „Но не думай, мой друг, – сказал я ему, – чтобы ты видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретая одно, лишаясь другого и жалею“. – Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал. До обеда бывал я на бирже, чтобы видеться с знакомым своим англичанином, через которого надлежало мне получить векселя. Там, смотря на корабли, я вздумал было ехать водою, в Данциг, в Штетин или в Любек, чтобы скорее быть в Германии. Англичанин мне то же советовал и сыскал капитана, который через несколько дней хотел плыть в Штетин. Дело, казалось, было с концом; однако ж вышло не так. Надлежало объявить мой паспорт в адмиралтействе; но там не хотели надписать его, потому что он дан из московского, а не из петербургского губернского правления и что в нем не сказано, как я поеду; то есть, не сказано, что поеду морем. Возражения мои не имели успеха – я не знал порядка, и мне оставалось ехать сухим путем или взять другой паспорт в Петербурге. Я решился на первое; взял подорожную – и лошади готовы. Итак, простите, любезные друзья! Когда-то будет мне веселее! А до сей минуты все грустно. Простите!

Рига, 31 мая 1789

Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу и остановился в „Hotel de Petersbourg“. Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна: надлежало еще идти сильным дождям; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга на перекладных и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня лишнее; на каждой перемене держали слишком долго. Но нигде не было мне так горько, как в Нарве. Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось: кибитка упала и грязь,

и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде. Этого еще мало: пришел какой-то полицейский и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги. „Спрячь её в карман!“ – сказал я с притворным равнодушием и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей. О, если бы мне можно было тогда перенестись к вам, друзья мои! Внутренне проклинал я то беспокойство сердца человеческого, которое влечет нас от предмета к предмету, от верных удовольствий к неверным, как скоро первые уже не новы, – которое настраивает к мечтам наше воображение и заставляет нас искать радостей в неизвестности будущего!

Есть всему предел; волна, ударившись о берег, назад возвращается или, поднявшись высоко, опять вниз упадет – и в самый тот миг, как сердце мое стало полно, явился хорошо одетый мальчик, лет тринадцати, и с милою, сердечною улыбкою сказал мне по-немецки: „У вас изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйте к нам – вот наш дом – батюшка и матушка приказали вас просить к себе“. – „Благодарю вас, государь мой! Только мне нельзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дорожному и весь мокр“. – „К кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйте, сударь, пожалуйте!“ Тут улыбнулся он так убедительно, что я должен был стряхнуть воду с шляпы своей – разумеется, для того, чтобы с ним идти. Мы взяли за руки и побежали бегом в большой каменный дом, где в зале первого, этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг стола; хозяйка разливала чай и кофе. Меня приняли так ласково, потчевали так сердечно, что я забыл все свое горе. Хозяин, пожилой человек, у которого добродушие на лице написано, с видом искреннего участия расспрашивал меня о моем путешествии. Молодой человек, племянник его, недавно возвратившийся из Германии, сказывал мне, как удобнее ехать из Риги в Кенигсберг. Я пробыл у них около часа. Между тем привезли ось, и все было готово. „Нет, еще постоит!“ – сказали мне, и хозяйка принесла на блюде три хлеба. „Наш хлеб, говорят, хорош: возьмите его“. – „Бог с вами!“ – примолвил хозяин, пожав мою руку, – бог с вами!“ Я сквозь слезы благодарил его и желал, чтобы он и впредь своим гостеприимством утешал печальных странников, расставшихся с милыми друзьями. – Гостеприимство, священная добродетель, обыкновенная во дни юности рода человеческого и столь редкая во дни наши! Если я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудут меня друзья мои! Пусть вечно буду на земле странником и нигде не найду второго Крамера! {Один из моих приятелей, будучи в Нарве, читал Крамеру сие письмо – он был доволен – я еще больше!}

Простился со всею любезною семьей, сел в кибитку и поскакал, обрадованный находкой добрых людей! – Почта от Нарвы до Риги называется немецкою, для того что комиссары на станциях немцы. Почтовые дома везде одинакие – низенькие, деревянные, разделенные на две половины: одна для проезжих, а в другой живет сам комиссар, у которого можно найти все нужное для утоления голода и жажды. Станции маленькие; есть по двенадцати и десяти верст. Вместо ямщиков ездят отставные солдаты, из которых иные помнят Миниха; рассказывая сказки, забывают они погонять лошадей, и для того приехал я сюда из Петербурга не прежде, как в пятый день. На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: г. З., едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним и нашел в нем любезного человека. Он настрашал меня песчаными прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу и Вену; однако ж мне не хочется переменить своего плана. Пожелав ему счастливого пути, бросился я на постелю; но не мог заснуть до самого того времени, как чухонец пришел мне сказать, что кибитка для меня впряжена.

Я не приметил никакой розницы между эстляндцами и лифляндцами, кроме языка и кафтанов: одни носят черные, а другие серые. Языки их сходны; имеют в себе мало собственного, много немецких и даже несколько славянских слов. Я заметил, что они все немецкие слова смягчают в произношении: из чего можно заключить, что слух их нежен; но видя их непросторство, неловкость и недогадливость, всякий должен думать, что они, просто сказать, глуповаты. Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леность и называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много работают, и мужик в Лифляндии или в Эстляндии приносит господину вчетверо более нашего казанского или симбирского.

Сии бедные люди, работающие господам со страхом и трепетом во все будничные дни, зато уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма немного по их календарю. Дорога усеяна корчмами, и все они в проезд мой были наполнены гуляющим народом – праздновали троицу. Мужики и господа лютеранского исповедания. Церкви их подобны нашим, кроме того, что наверху стоит не крест, а петух, который должен напоминать о падении апостола Петра. Проповеди говорят на их языке; однако ж пасторы все знают по-немецки.

Что принадлежит до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин. – Напрасно будешь искать и таких деревень, как у нас. В одном месте видишь два двора,

в другом три, четыре и церковь. Избы больше наших и разделены обыкновенно на две половины: в одной живут люди, а другая служит хлевом. – Те, которые едут не на почтовых, должны останавливаться в корчмах. Впрочем, я почти совсем не видал проезжих: так пуста эта дорога в нынешнее время.

О городах говорить много нечего, потому что я в них не останавливался. В Ямбурге, маленьком городке, известном по своим суконным фабрикам, есть изрядное каменное строение. Немецкая часть Нарвы, или, собственно, так называемая Нарва, состоит по большей части из каменных домов; другая, отделяемая рекою, называется Иван-город. В первой всё на немецкую статью, а в другой всё на русскую. Тут была прежде наша граница – о, Петр, Петр!

Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось. Мужчины и женщины ходили по городу обнявшись, и в окрестных рощах мелькали гуляющие четы. Что город, то норы; что деревня, то обычаи. – Здесь-то живет брат несчастного Л* {Ленца, немецкого автора, который несколько времени жил со мною в одном доме. Глубокая меланхолия, следствие многих несчастий, свела его с ума; но в самом сумасшествии он удивлял нас иногда своими пиитическими идеями, а всего чаще трогал добродушием и терпением.}. Он главный пастор, всеми любим и доход имеет очень хороший. Помнит ли он брата? Я говорил об нем с одним лифляндским дворянином, любезным, пылким человеком. „Ах, государь мой! – сказал он мне, – самое то, что одного прославляет и счастливит, делает другого злополучным. Кто, читая поэму шестнадцатилетнего Л* и все то, что он писал до двадцати пяти лет, не увидит утренней зари великого духа? Кто не подумает: вот юный Клопшток, юный Шекспир? Но тучи помрачили эту прекрасную зарю, и солнце никогда не воссияло. Глубокая чувствительность, без которой Клопшток не был бы Клопштоком и Шекспир Шекспиrom, погубила его. Другие обстоятельства, и Л* бессмертен!“ –

Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это торговый город, – много лавок, много народа – река покрыта кораблями и судами разных наций – биржа полна. Везде слышишь немецкий язык – где-где русский, – и везде требуют не рублей, а талеров. Город не очень красив; улицы узки – но много каменного строения, есть хорошие дома.

В трактире, где я остановился, хозяин очень услужлив: сам носил паспорт мой в правление и в благочиние и сыскал мне извозчика, который за тринадцать червонцев нанялся довести меня до Кенигсберга, вместе с одним французским купцом, который нанял у него в свою коляску четырех лошадей; а я поеду в кибитке. – Илью отправлю отсюда прямо в Москву.

Милые друзья! Всегда, всегда о вас думаю, когда могу думать. Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался.

Курляндская корчма, 1 июня 1789

Еще не успел я окончить письма к вам, любезнейшие друзья, как лошади были впряжены и трактирщик пришел сказать мне, что через полчаса запрут городские ворота. Надобно было дописать письмо, расплатиться, укласть чемодан и приказать кое-что Илье. Хозяин воспользовался моим недосугом и подал мне самый аптекарский счет; то есть за одне сутки он взял с меня около девяти рублей!

Удивляюсь еще, как я в таких торопях ничего не забыл в трактире. Наконец все было готово, и мы выехали из ворот. Тут простился я с добродушным Ильею – он к вам поехал, милые! – Начало смеркаться. Вечер был тих и прохладен. Я заснул крепким сном молодого путешественника и не чувствовал, как прошла ночь. Восходящее солнце разбудило меня лучами своими; мы приближались к заставе, маленькому домику с рогаткою. Парижский купец пошел со мною к майору, который принял меня учтиво и после осмотра велел нас пропустить. Мы въехали в Курляндию – и мысль, что я уже вне отечества, производила в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен! „Вот первый иностранный город“; – думал я, и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового. На берегу реки Аа, через которую мы переехали на плоту, стоит дворец герцога курляндского, не малый дом, впрочем, по своей наружности весьма не великолепный. Стекла почти везде выбиты или вынуты; и видно, что внутри комнат переделывают. Герцог живет в летнем замке, недалеко от Митавы. Берег реки покрыт лесом, которым сам герцог исключительно торгует и который составляет для него немалый доход. Стоявшие на карауле солдаты казались инвалидами. Что принадлежит до города, то он велик, но нехорош. Дома почти все маленькие и довольно неопрятны; улицы узки и худо вымощены; садов и пустырей много.

Мы остановились в трактире, который считается лучшим в городе. Тотчас окружили нас жида с разными безделками. Один предлагал трубку, другой – старый

лютеранский молитвенник и Готшедову „Грамматику“, третий – зрительное стекло, и каждый хотел продать товар свой таким добрым господам за самую сходную цепу. Француженка, едущая с парижским купцом, женщина лет в сорок пять, стала оправлять свои седые волосы перед зеркалом, а мы с купцом, заказав обед, пошли ходить по городу – видели, как молодой офицер учил старых солдат, и слышали, как пожилая курносая немка в чепчике бранилась с пьяным мужем своим, сапожником! Возвратясь, обедали мы с добрым аппетитом и после обеда имели время напиться кофе, чаю и поговорить довольно. Я узнал от спутника своего, что он родом италиянец, но в самых молодых годах оставил свое отечество и торгует в Париже; много путешествовал и в Россию приезжал отчасти по своим делам, а отчасти для того, чтобы узнать всю жестокость зимы; и теперь возвращается опять в Париж, где намерен навсегда остаться. – За все вместе заплатили мы в трактире по рублю с человека.

Выехав из Митавы, увидел я приятнейшие места. Сия земля гораздо лучше Лифляндии, которую не жаль проехать зажмурясь. Нам попались немецкие извозчики из Либав и Пруссии. Странные экипажи! Длинные фуры цугом; лошади пребольшие, и висящие на них погремушки производят несносный для ушей шум. Отъехав пять миль, остановились мы ночевать в корчме. Двор хорошо покрыт; комнаты довольно чисты, и в каждой готова постель для путешественников.

Вечер приятен. В нескольких шагах от корчмы течет чистая река. Берег покрыт мягкой зеленою травой и осенен в иных местах густыми деревьями. Я отказался от ужина, вышел на берег и вспомнил один московский вечер, в который, гуляя с Пт. под Андроньевым монастырем, с отменным удовольствием смотрели мы на заходящее солнце. Думал ли я тогда, что ровно через год буду наслаждаться приятностями вечера в курляндской корчме? Еще другая мысль пришла мне в голову. Некогда начал было я писать роман и хотел в воображении объездить точно те земли, в которые теперь еду. В мысленном путешествии, выехав из России, остановился я ночевать в корчме: и в действительном то же случилось. Но в романе писал я, что вечер был самый ненастный, что дождь не оставил на мне сухой нитки и что в корчме надлежало мне сушиться перед камином; а на деле вечер выдался самый тихий и ясный. Сей первый ночлег был несчастлив для романа; боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и не обеспокоило меня в моем путешествии, сжег я его в печи, в благословенном своем жилище на Чистых Прудах. – Я лег на траве под деревом, вынул из кармана записную книжку, чернилицу и перо и написал то, что вы теперь читали.

Между тем вышли на берег два немца, которые в особой кибитке едут с нами до Кенигсберга; легли подле меня на траве, закурили трубки и от скуки

начали бранить русский народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? „Нет“, – отвечали они. „А когда так, государи мои, – сказал я, – то вы не можете судить о русских; побывав только в пограничном городе“. Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня русским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками. Разговор продолжался. Один из них сказал мне, что он имел счастье быть в Голландии и скопил там много полезных знаний. „Кто хочет узнать свет, – говорил он, – тому надобно ехать в Роттердам. Там-то живут славно, и все гуляют на шлюпках! Нигде не увидишь того, что там увидишь. Поверьте мне, государь мой, в Роттердаме я сделался человеком!“ – „Хорош гусь!“ – думал я – и пожелал им доброго вечера.

...

http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0320.shtml